



Когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке. У бабушки над столом была полка. А на полке парходик. Я такого никогда не видал. Он был совсем настоящий, только маленький. У него была труба: жёлтая и на ней два чёрных пояса. И две мачты. А от мачт шли к бортам верёвочные лесенки. На корме стояла будочка, как домик. Полированная, с окошечками и дверкой. А уж совсем на корме — медное рулевое колесо. Снизу под кормой — руль. И блестел перед рулём винт, как медная розочка. На носу два якоря. Ах, какие замечательные! Если б хоть один у меня такой был!

Я сразу запросил у бабушки, чтоб поиграть парходиком. Бабушка мне все позволяла. А тут вдруг нахмурилась:

— Вот это уж не проси. Не то играть — трогать не смей. Никогда! Это для меня дорогая память. Я видел, что, если и заплакать, — не поможет.

А парходик важно стоял на полке на лакированных подставках. Я глаз от него не мог оторвать. А бабушка:

— Дай честное слово, что не прикоснёшься. А то лучше спрячу-ка от греха.



И пошла к полке.

Я чуть не заплакал и крикнул всем голосом:

— Честное-расчестное, бабушка. — И схватил бабушку за юбку.

Бабушка не убрала пароходика.

Я всё смотрел на пароходик. Влезал на стул, чтоб лучше видеть. И всё больше и больше он мне казался настоящим. И непременно должна дверца в будочке отворяться. И наверно, в нём живут человечки. Маленькие, как раз по росту пароходика. Выходило, что они должны быть чуть ниже спички. Я стал ждать, не поглядит ли кто из них в окошечко. Наверно, подглядывают. А когда дома никого нет, выходят на палубу. Лазят, наверно, по лестничкам на мачты.

А чуть шум — как мыши: юрк в каюту, Вниз — и притаятся. Я долго глядел, когда был в комнате один. Никто не выглянул. Я спрятался за дверь и глядел в щёлку. А они хитрые, человечки проклятые, знают, что я подглядываю. Ага! Они ночью работают, когда никто их спугнуть не может. Хитрые.

Я стал быстро-быстро глотать чай. И запросился спать. Бабушка говорит:

— Что это? То тебя силком в кровать не загонишь, а тут этакую рань и спать просишься.

И вот, когда улеглись, бабушка погасила свет. И не видно пароходика. Я ворочался нарочно, так что кровать скрипела.

Бабушка

— Чего ты всё ворочаешься?

— А я без света спать боюсь. Дома всегда ночник зажигают. — Это я наврал: дома ночью темно наглухо.



Бабушка ругалась, однако встала. Долго ковырялась и устроила ночник. Он плохо горел. Но всё же было видно, как блестел парходик на полке.

Я закрылся одеялом с головой, сделал себе домик и маленькую дырочку. И из дырочки глядел не шевелясь. Скоро я так присмотрелся, что на парходике мне всё стало отлично видно. Я долго глядел. В комнате было совсем тихо. Только часы тикали. Вдруг что-то тихонько зашуршало.

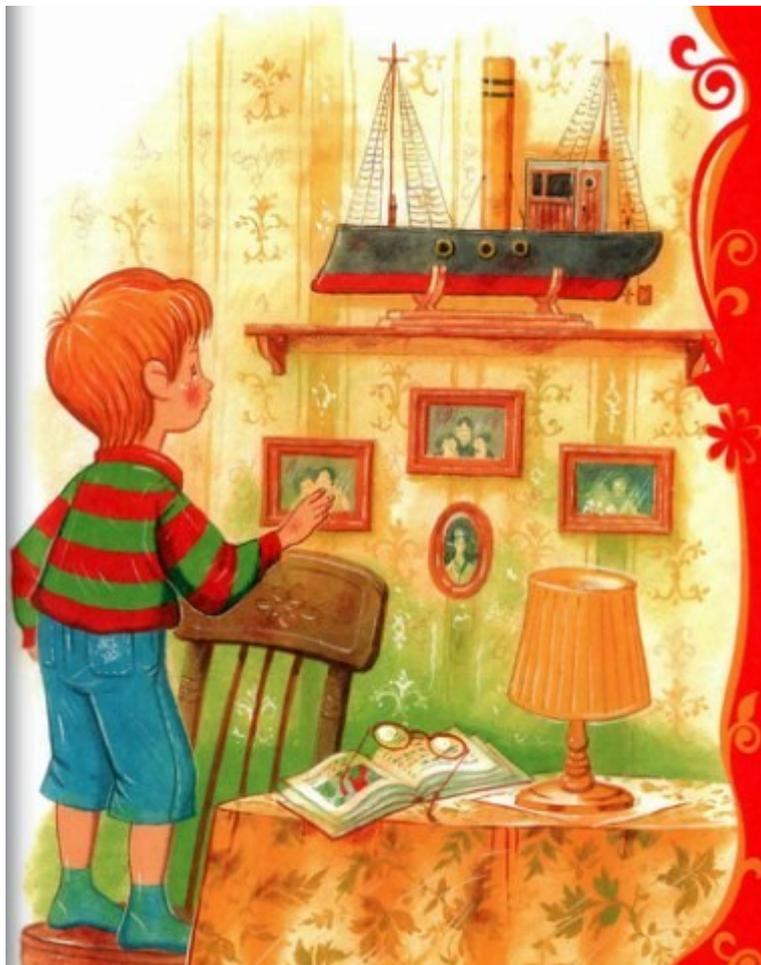
Я насторожился — шорох этот на парходике. И вот будто дверка приоткрылась. У меня дыхание спёрло. Я чуть двинулся вперёд. Проклятая кровать скрипнула. Я спугнул человечка!

Теперь уж нечего было ждать, и я заснул. Я с горя заснул.

На другой день я вот что придумал. Человечки, наверно же, едят что-нибудь. Если дать им конфету, так это для них целый воз. Надо отломить от леденца кусок и положить на парходик, около будочки. Около самых дверей. Но такой кусок, чтоб сразу в ихние дверцы не пролез. Вот они ночью двери откроют, выглянут в щёлочку. Ух ты! Конфетища! Для них это — как ящик целый.

Сейчас выскочат, скорей конфетину к себе тащить. Они её в двери, а она не лезет! Сейчас сбегают, принесут топорики — маленькие-маленькие, но совсем всамделишные — и начнут этими топориками тюкать: тюк-тюк! тюк-тюк! И скорей пропирать конфетину в дверь. Они хитрые, им лишь бы всё вёртко. Чтоб не поймали. Вот они завосятся с конфетиной. Тут, если я и скрипну, всё равно им не поспеть: конфетина в дверях застрянет — ни туда, ни сюда. Пусть убегут, а всё равно видно будет, как они конфетину тащили. А может быть, кто-нибудь с перепугу топорик упустит. Где уж им будет подбирать! И я найду на парходике на палубе малюсенький настоящий топорик, остренький-преостренький.

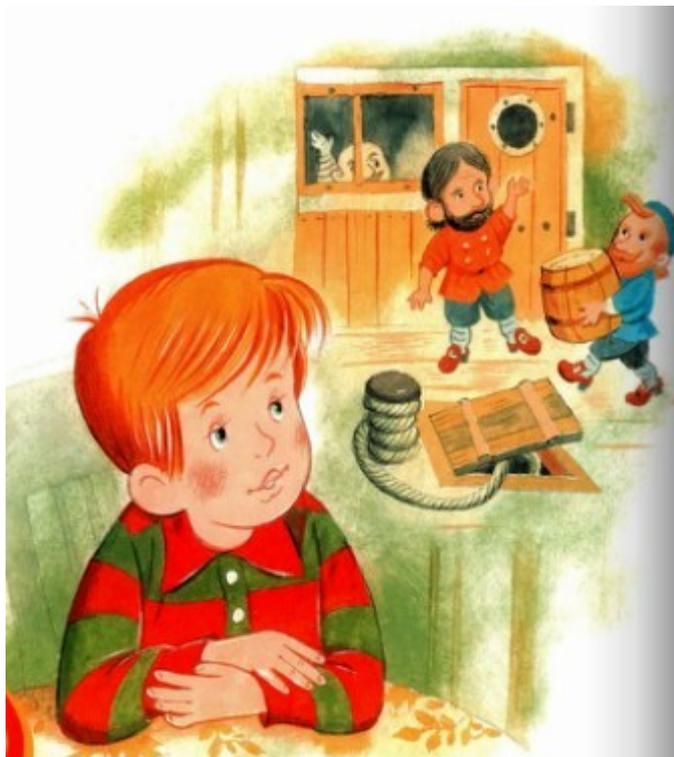
И вот я тайком от бабушки отрубил от леденца кусок, как раз какой хотел. Выждал минуту, пока бабушка в кухне возилась, раз-два — на стол ногами, и положил леденец у самой дверки на парходике. Ихних полшага от двери до леденца. Слез со стола, рукавом затёр, что ногами наследил. Бабушка ничего не заметила.



Днём я тайком взглядывал на пароходик. Повела бабушка меня гулять. Я боялся, что за это время человечки утянут леденец и я их не поймаю. Я дорогой нюнил нарочно, что мне холодно, и вернулись мы скоро. Я глянул первым делом на пароходик! Леденец как был — на месте. Ну да! Дураки они днём братья за такое дело!

Ночью, когда бабушка заснула, я устроился в домике из одеяла и стал глядеть. На этот раз ночник горел замечательно, и леденец блестел, как льдинка на солнце, острым огоньком. Я глядел, глядел на этот огонёк и заснул, как назло! Человечки меня перехитрили. Я утром глянул — леденца не было, а встал я раньше всех, в одной рубашке бегал глядеть. Потом со стула глядел — топорика, конечно, не было. Да чего же им было бросать: работали не спеша, без помехи, и даже крошечки ни одной нигде не валялось — всё подобрали.

Другой раз я положил хлеб. Я ночью даже слышал какую-то возню. Проклятый ночник еле коптел, я ничего не мог рассмотреть. Но наутро хлеба не было. Чуть только крошек осталось. Ну, понятно, им хлеба-то не особенно жалко, не конфеты: там каждая крошка для них леденец.



Я решил, что у них в пароходике с обеих сторон идут лавки. Во всю длину. И они днём там сидят рядком и тихонько шепчутся. Про свои дела. А ночью, когда все-все заснут, тут у них работа.

Я всё время думал о человечках. Я хотел взять тряпочку, вроде маленького коврика, и положить около дверей. Намочить тряпочку чернилами. Они выбегут, не заметят сразу, ножки запачкают и наследят по всему пароходу. Я хоть увижу, какие у них ножки. Может быть, некоторые босиком, чтобы тише ступать. Да нет, они страшно хитрые и только смеяться будут над всеми моими штуками.

Я не мог больше терпеть.

И вот — я решил непременно взять пароходик и посмотреть и поймать человечков. Хоть одного. Надо только устроить так, чтобы остаться одному дома. Бабушка всюду меня с собой таскала, во все гости. Всё к каким-то старухам. Сиди — и ничего нельзя трогать. Можно только кошку гладить. И шушукать бабушка с ними полдня.

Вот я вижу — бабушка собирается: стала собирать печенье в коробочку для этих старух — чай там пить. Я побежал в сени, достал мои варежки вязаные и натёр себе и лоб и щёки — всю морду, одним словом. Не жалея. И тихонько прилёг на кровать.

Бабушка вдруг хватилась:

— Боря, Борюшка, где ж ты? — Я молчу и глаза закрыл. Бабушка ко мне:

— Что это ты лёг?

— Голова болит.

Она тронула лоб.

— Погляди-ка на меня! Сиди дома. Назад пойду — малины возьму в аптеке. Скоро вернусь. Долго сидеть не буду. А ты раздевайся-ка и ложись. Ложись, ложись без разговору.

Стала помогать мне, уложила, увернула одеялом и всё приговаривала: «Я сейчас вернусь, живым духом».

Бабушка заперла меня на ключ. Я выждал пять минут: а вдруг вернётся? Вдруг забыла там что-нибудь?

А потом я вскочил с постели как был, в рубахе. Я вскочил на стол, взял с полки пароходик. Сразу руками понял, что он железный, совсем настоящий. Я прижал его к уху и стал слушать: не шевелятся ли? Но они, конечно, примолкли. Поняли, что я схватил ихний пароход. Ага! Сидите там на лавочке и примолкли, как мыши.



Я слез со стола и стал трясти парходик. Они стряхнутся, не усидят на лавках, и я услышу, как они там болтаются. Но внутри было тихо. Я понял: они сидят на лавках, ноги поджали и руками что есть сил уцепились в сиденья. Сидят как приклеенные.

Ага! Так погодите же. Я подковырну и приподниму палубу. И вас всех там накрою. Я стал доставать из буфета столовый нож, но глаз не спускал с парходика, чтоб не выскочили человечки. Я стал подковыривать палубу. Ух, как плотно всё заделано. Наконец удалось немножко подсунуть нож. Но мачты поднимались вместе с палубой. А мачтам не давали подниматься эти верёвочные лесенки, что шли от мачт к бортам. Их надо было отрезать — иначе никак. Я на миг остановился. Всего только на миг. Но сейчас же торопливой рукой стал резать эти лесенки. Пилил их тупым ножом. Готово, все они повисли, мачты свободны. Я стал ножом приподнимать палубу. Я боялся сразу дать большую щель. Они бросятся все сразу и разбегутся. Я оставил щёлку, чтобы пролезть одному. Он ползет, а я его — хлоп! — и захопну, как жука в ладони. Я ждал и держал руку наготове — схватить.

Не лезет ни один! Я тогда решил сразу отвернуть палубу и туда в серёдку рукой — прихлопнуть. Хоть один да попадётся. Только надо сразу: они уж там небось приготовились — откроешь, а человечки прыск все в стороны.

Я быстро откинул палубу и прихлопнул внутрь рукой. Ничего. Совсем, совсем ничего! Даже скамеек этих не было. Голые борта. Как в кастрюльке. Я поднял руку. И под рукой, конечно, ничего. У меня руки дрожали, когда я прилаживал назад палубу. Всё криво становилась. И лесенки никак не приделать. Они болтались как попало. Я кой-как приткнул палубу на место и поставил парходик на полку. Теперь всё пропало!

Я скорей бросился в кровать, завернулся с головой.

Слышу ключ в дверях.

— Бабушка! — под одеялом шептал я. — Бабушка, миленькая, родненькая, чего я наделал-то!

А бабушка стояла уж надо мной и по голове гладила:

— Да чего ты ревёшь, да плачешь-то чего? Родной ты мой, Борюшка! Видишь, как я скоро?

Она ещё не видала парходика.

